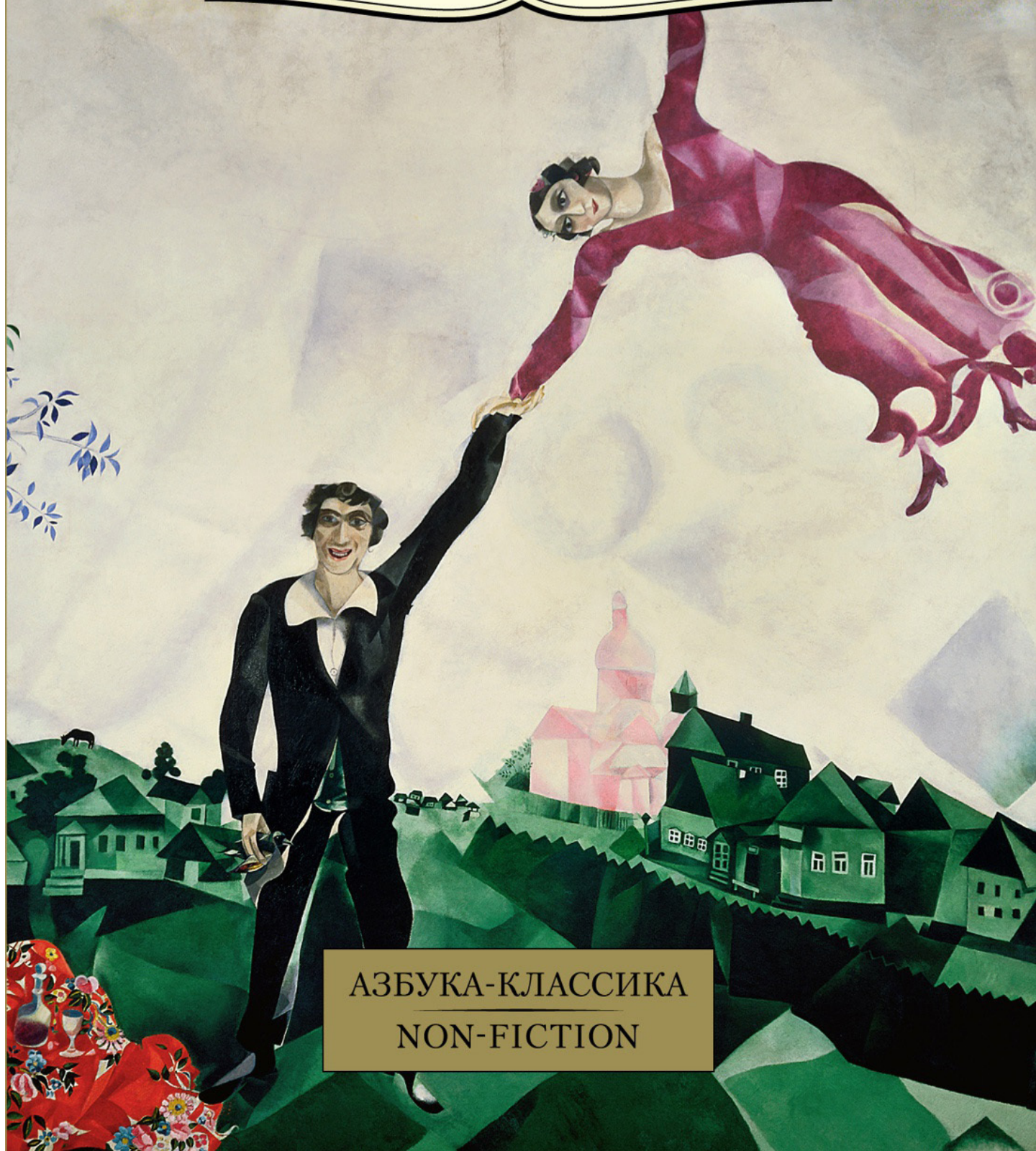


МАРК  
ШАГАЛ

*Моя жизнь*



АЗБУКА-КЛАССИКА  
NON-FICTION

Азбука-классика. Non-Fiction

Марк Шагал

**Моя жизнь**

«Азбука-Аттикус»

1928

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

**Шагал М. З.**

Моя жизнь / М. З. Шагал — «Азбука-Аттикус», 1928 — (Азбука-классика. Non-Fiction)

ISBN 978-5-389-24230-2

«Моя жизнь» – автобиографический роман, документально-поэтическое повествование, написанное Марком Шагалом, великим художником, чья жизнь волей исторических сдвигов разделилась между Витебском и Парижем, между Россией и Францией. Перевод на русский (исправленный для настоящего издания) принадлежит Наталье Мавлевич, лауреату премии «Мастер». В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-24230-2

© Шагал М. З., 1928  
© Азбука-Аттикус, 1928

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

34

# Марк Шагал

## Моя жизнь

Marc Chagall

MA VIE

Copyright © Editions Stock, 1928, 1957, 2003

Published by arrangement with Lester Literary Agency & Associates

© Н. С. Мавлевич, перевод, 1994, 2022

© Н. В. Апчинская (наследники), послесловие, комментарии, 2000

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

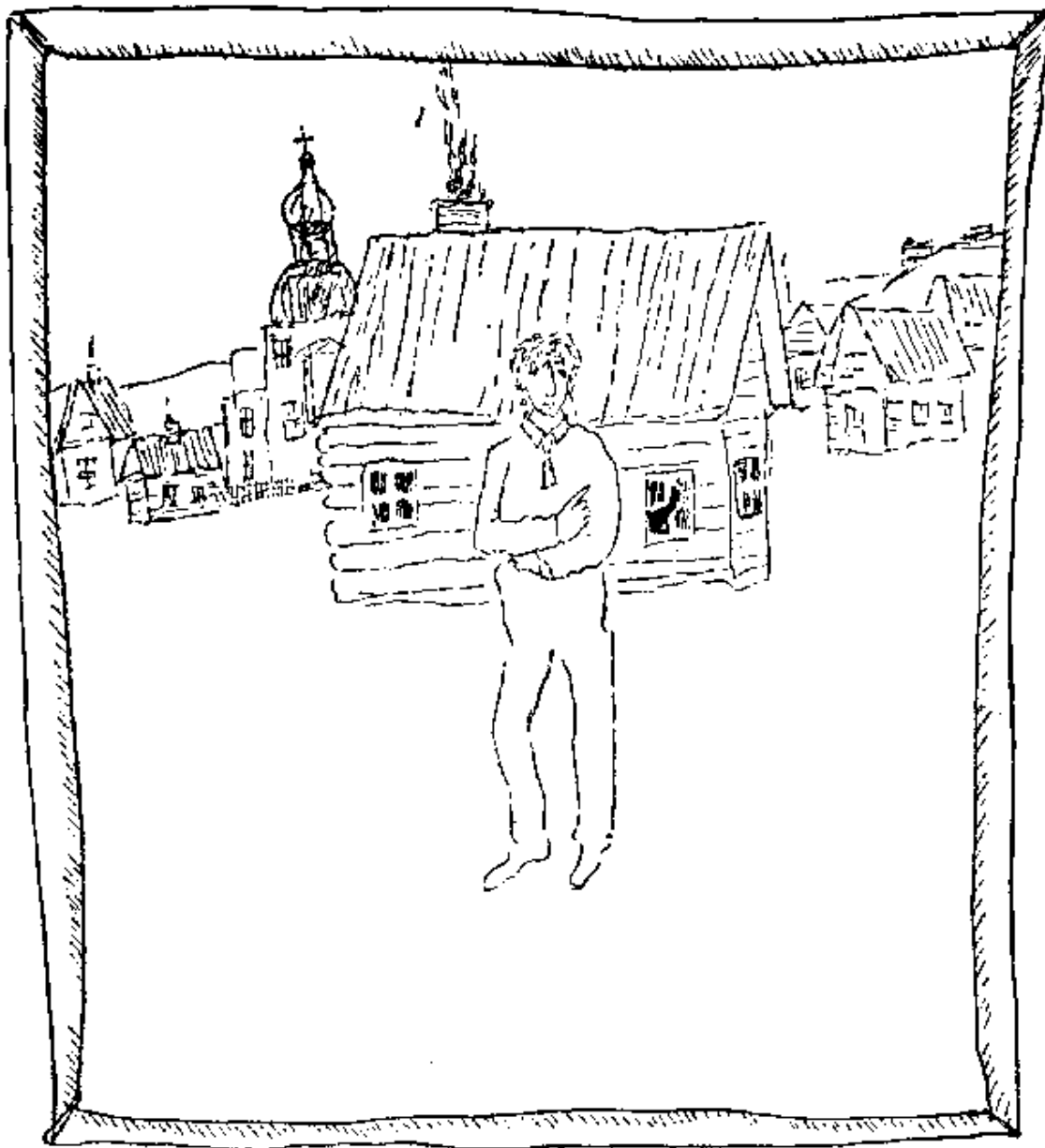
\* \* \*

Один из величайших художников XX столетия Марк Шагал прожил удивительную жизнь. Ее переломы, ежиданные повороты словно сошли со страниц романа. К счастью для нас, читателей, этот роман – «роман моей жизни» – написал сам художник, по-детски непосредственно и вместе с тем мудро. Документально-поэтическое повествование он начал писать еще в Петрограде во время Первой мировой войны, некоторые главы были добавлены в Берлине в начале 1920-х. Тогда же были напечатаны 20 иллюстраций-офорт. Книга была закончена уже по приезде в Париж. «Моя жизнь» Марка Шагала была опубликована во многих странах, а затем и в России. Этот неповторимый в своей экспрессии текст свидетельствует о том, что «отечество мое – в моей душе» (Марк Шагал).

\* \* \*

*Моим родителям, жене, родному городу*

\* \* \*



**Корыто – первое, что увидели мои глаза.** Обыкновенное корыто: глубокое, с закругленными краями. Какие продаются на базаре. Я весь в нем умещался.

Не помню кто, скорее всего, мама рассказывала, что, как раз когда я родился – в маленьком домике у дороги<sup>1</sup>, позади тюрьмы на окраине Витебска вспыхнул пожар.

Огонь охватил весь город, включая бедный еврейский квартал.

Мать и младенца у нее в ногах, вместе с кроватью, перенесли в безопасное место, на другой конец города. Но главное, родился я мертвым.

Не хотел жить. Этаким, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто насмотрелся картин Шагала.

Его кололи булавками, окунали в ведро с водой. И наконец он слабо мяукнул.

В общем, я мертворожденный.

Пусть только психологи не делают из этого каких-нибудь нелепых выводов. Упаси Бог!

---

<sup>1</sup> ...в маленьком домике у дороги... – Дом, в котором родился Шагал, находился на левом берегу Двины, близ Суражской дороги.



Между прочим, дом на Песковатиках – так назывался наш район – цел и сейчас. Я видел его не так давно.

Когда у отца появились средства, он сразу дом продал. Мне эта халупа напоминает шишку на голове зеленого раввина с моей картины или картофелину, упавшую в бочку с селедками и разбухшую от рассола. Глядя на нее с высоты нового «величия», я морщился и думал: «Как же я здесь ухитрился родиться? Чем здесь люди дышат?»

Когда мой дед, почтенный старец с длинной черной бородой, скончался с миром, отец за несколько рублей купил другое жилье.

Там уже не было по соседству сумасшедшего дома, как на Песковатиках. Вокруг церкви, заборы, лавки, синагоги, незамысловатые и вечные строения, как на фресках Джотто.

Явичи, Бейлины – молодые и старые евреи всех мастей трутся, снуют, суетятся. Спешит домой нищий, степенно вышагивает богач. Мальчишка бежит из хедера. И мой папа идет домой.

В те времена еще не было кино.

Люди ходили только домой или в лавку. Это второе, что я помню, – после корыта.

Не говоря о небе и о звездах моего детства.

Дорогие мои, родные мои звезды, они провожали меня в школу и ждали на улице, пока я пойду обратно. Простите меня, мои бедные. Я оставил вас одних на такой страшной вышине!

Мой грустный и веселый город<sup>2</sup>!

Ребенком, несмышленышем, глядел я на тебя с нашего порога. И ты весь открывался мне. Если мешал забор, я вставал на приступочку. Если и так было не видно, залезал на крышу. А что? Туда и дед забирался.

И смотрел на тебя сколько хотел.

Здесь, на Покровской улице, я родился еще раз.

Вы когда-нибудь видели на картинах флорентийских мастеров фигуры с длинной, отроду не стриженной бородой, темно-карими, но как бы и пепельными глазами, с лицом цвета жженой охры, в морщинах и складках?

Это мой отец.

Или, может, вы видели картинки из Агады – пасхально-благодные и туповатые лица персонажей? (Прости, папочка!)

Помнишь, как-то я написал с тебя этюд. Твой портрет должен походить на свечку, которая вспыхивает и потухает в одно и то же время. И обдавать сном.

Муха – будь она проклята – жужжит и жужжит и усыпляет меня.

Надо ли вообще говорить об отце?

Что стоит человек, который ничего не стоит? Которому нет цены? Вот почему мне трудно подобрать слова.

Мой дед, учитель в хедере, не нашел ничего лучшего, чем с самого детства определить своего старшего сына, моего отца, рассыльным к торговцу селедкой, а младшего – учеником к парикмахеру.

Конечно, в рассыльных отец не остался, но за тридцать два года не пошел дальше рабочего.

Он перетаскивал огромные бочки, и сердце мое трескалось, как ломкое турецкое печенье, при виде того, как он ворочает эту тяжесть или достает селедки из рассола заколоченными руками. А жирный хозяин стоит рядышком, как чуело.

---

<sup>2</sup> *Мой грустный и веселый город!* – Как свидетельствует новейшая «Еврейская энциклопедия», в конце прошлого века в Витебске жило 34 420 евреев, что составляло 52,4 % всего населения. В городе было около 60 синагог и 30 христианских храмов. *Агада* (ивр.) – сказка, притча, повествование. Так же назывались иллюстрированные печатные сборники пасхальных молитв и предписаний.

Одежда отца была вечно забрызгана селедочным рассолом. Блестящие чешуйки так и сыпались во все стороны. Иногда же его лицо, то мертвенно-, то изжелта-бледное, освещалось слабой улыбкой.

Что это была за улыбка! Откуда она бралась?

Отца словно вдувало в дом с улицы, где шныряли темные, осыпанные лунными бликами фигуры прохожих. Так и вижу внезапный блеск его зубов. Они напоминают мне кошачьи, коровьи, все, какие ни на есть.

Отец представляется мне загадочным и грустным. Каким-то непостижимым.

Всегда утомленный, озабоченный, только глаза светятся тихим, серо-голубым светом.

Долговязый и тощий, он возвращался домой в грязной, засаленной рабочей одежде с оттопыренными карманами – из одного торчал линяло-красный платок. И вечер входил в дом вместе с ним.

Из этих карманов он вытаскивал пригоршни пирожков и засахаренных груш. И бурой, жилистой рукой раздавал их нам, детям. Нам же эти лакомства казались куда соблазнительней и слаще, чем если бы мы сами брали их со стола.

А если нам не доставалось пирожков и груш из отцовских карманов, то вечер был бесцветным.

Я один понимал отца, плоть от плоти своего народа, взволнованно-молчаливую, поэтическую душу.

До самых последних лет жизни, пока не «сбесились» цены, он получал каких-то двадцать рублей. Скучные чаевые от покупателей не много прибавляли к этому жалкому доходу. И все-таки даже в молодости он не был совсем уж бедным женихом.

Судя по фотографиям тех лет и по моим собственным воспоминаниям о семейном гардеробе, он был не только физически крепок, но и не нищ: невесте, совсем девочке, крохотного росточка – она подросла еще и после свадьбы, – смог преподнести богатую шаль.

Женившись, он перестал отдавать жалованье отцу и зажил своим домом.

Однако прежде надо бы закончить портрет моего длиннорядого деда. Не знаю, долго ли он учительствовал. Говорят, он пользовался всеобщим уважением.

Когда в последний раз, лет десять назад, я вместе с бабушкой был на его могиле, то, глядя на надгробие, лишний раз убедился, что он и впрямь был человеком почтенным. Безупречным, святым человеком.

Он похоронен близ мутной быстрой речки, от которой кладбище отделяла почерневшая изгородь. Под холмиком, рядом с другими «праведниками», лежащими здесь с незапамятных времен.

Буквы на плите почти стерлись, но еще можно различить древнееврейскую надпись: «Здесь покоится...»

Бабушка говорила, указывая на плиту: «Вот могила твоего деда, отца твоего отца и моего первого мужа».

Плакать она не умела, только перебирала губами, шептала: не то разговаривала сама с собой, не то молилась. Я слушал, как она причитает, склонившись перед камнем и холмиком, как перед самым дедом; будто говорит вглубь земли или в шкаф, где лежит навеки запертый предмет:

«Молись за нас, Давид, прошу тебя. Это я, твоя Башева. Молись за своего больного сына Шатю, за бедного Зюсю, за их детей. Молись, чтобы они всегда были чисты перед Богом и людьми».

С бабушкой мне всегда было проще. Невысокая, шуплая, она вся состояла из платка, юбки до полу да морщинистого личика.

Ростом чуть больше метра.



А вся душа заполнена преданностью любимым деткам да молитвами.

Овдовев, она, с благословения раввина, вышла замуж за моего второго деда, тоже вдовца, отца моей матери. Ее муж и его жена умерли в тот год, когда поженились мои родители. Семейный престол перешел к маме.



**Сердце мое всегда сжимается**, когда во сне увижу матушкину могилу или вдруг вспомню: нынче день ее смерти.

Словно снова вижу тебя, мама.

Ты тихонько идешь ко мне, так медленно, что хочется тебе помочь. И улыбаешься, совсем как я. Она моя, эта улыбка.

Мама родилась в Лиозно, это там я написал дом священника, перед домом – забор, перед забором – свиньи.

Вот и хозяин: поп или как его там. Крест на груди сияет, поп улыбается мне, сейчас благословит. На ходу поглаживает себя по бедрам. Свиньи, как собачки, бегут ему навстречу.

Мама – старшая дочь деда. Полжизни он провел на печке, четверть – в синагоге, остальное время – на бойне. Бабушка не выдержала его праздности и умерла совсем молодой.

Тогда дед зашевелился. Как растревоженная корова или теленок.

Правда ли, что мама была невзрачной коротышкой?

Дескать, отец женился на ней не глядя. Да нет.

У нее был дар слова, большая редкость в бедном предместье, мы знали и ценили это.

Однако к чему расхваливать маму, которой давно уж нет на свете! Да и что я скажу?

Не говорить, а рыдать хочется.

Туда, к воротам кладбища, влечет меня. Легче пламени, легче облачка лечу туда, чтобы выплакаться.

Внизу река, где-то вдали мостик, а прямо передо мной – погост, место вечного упокоения, могила.

Здесь моя душа. Здесь и ищите меня, вот я, мои картины, мои истоки. Печаль, печаль моя!

Что ж, вот он, мамин портрет.

Или мой, все равно. Не я ли это? Кто я?

Улыбнись, удивись, усмехнись, прохожий.

Озеро скорби, ранняя седина, глаза – обитель слез, душа почти неосятима, разум почти заглох.

Так что же в ней было?

Она ведет хозяйство, руководит отцом, все время затевая какие-то стройки и пристройки, открывает бакалейную торговлю и берет целый фургон товара в кредит, не заплатив ни копейки. Где взять слова, чтобы описать, как она подолгу с застывшей улыбкой сидит перед дверью или за столом, поджидая, не зайдет ли кто-нибудь из соседей, чтобы отвести душу, страдающую от вынужденного молчания?

По вечерам, когда лавка закрывалась и прибегали с улицы дети, дом затихал: вот, сгорбившись, сидит у стола отец, застыл огонь в лампе, чинно молчат стулья; даже снаружи – ни признака жизни: есть ли еще на свете небо? куда делась природа? – и все не потому, что мы старались не шуметь, а просто наступало оцепенение. Мама сидела около печи, положив одну руку на стол, другую – себе на живот.

Голову ее венчала высокая прическа, укрепленная заколкой.

Она постукивала пальцем по клеенке, еще и еще раз, словно говоря:

«Все уснули. Ну что за дети у меня! Не с кем поговорить».

Поговорить она любила. Умела так подобрать, так сплести слова, что собеседник только диву давался да растерянно улыбался.

Не меняя позы, почти не открывая рта и не шевеля губами, не поворачивая головы в остроконечной прическе, с величием королевы, она вещала, спрашивала или молчала.

Но рядом никого. Только я слушал ее, и то вполуха.

«Поговори со мной, сынок», – просила она.

Я – мальчуган, она – королева. О чем нам говорить?

Сердитый палец стучит по столу все чаще.

И дом погружается в уныние.

В пятницу вечером, в канун субботы, неизменно наступала минута, когда отец, на середине молитвы – всегда в одном и том же месте, – засыпал (я на коленях перед тобой, папочка!), и тогда мама с опечаленным взглядом говорила своим восьмерым детям: «Давайте, дети, споем песнь раввина, помогайте мне!»

Дети принимались петь, но тоже скоро засыпали. Мама принималась плакать, а я ворчал:

«Ну вот, ты опять, никогда больше не буду петь».

Я хочу сказать, что весь мой талант таился в ней, в моей матери, и все, кроме ее ума, перedalось мне.

Вот она подходит к моей двери (в доме Явичей, со двора).

Стучится и спрашивает:

«Сынок, ты дома? Что делаешь? Белла заходила? Ты не голоден?»

«Посмотри, мама, как тебе нравится?»

Один Господь знает, какими глазами она смотрит на мою картину!

Я жду приговора. И наконец она медленно произносит:

«Да, сынок, я вижу, у тебя есть талант. Но послушай меня, деточка. Может, все-таки лучше тебе стать приказчиком. Мне жаль тебя. С твоими-то плечами. И откуда на нас такая напасть?»

Она была матерью не только нам, но и собственным сестрам. Когда какая-нибудь из них собиралась замуж, именно мама решала, подходящий ли жених. Наводила справки, расспрашивала, взвешивала за и против. Если жених жил в другом городе, ехала туда и, узнав его адрес, отправлялась в лавку напротив и заводила разговор. А вечером даже старалась заглянуть в его окна.

Столько лет прошло с тех пор, как она умерла!

Где ты теперь, мамочка? На небе, на земле? А я здесь, далеко от тебя. Мне было бы легче, будь я к тебе поближе, я бы хоть взглянул на твою могилу, хоть прикоснулся бы к ней.

Ах, мама! Я разучился молиться и все реже и реже плачу.

Но душа моя помнит о нас с тобой, и грустные думы приходят на ум.

Я не прошу тебя молиться за меня. Ты сама знаешь, сколько горестей мне суждено. Скажи мне, мамочка, утешит ли тебя моя любовь, там, где ты сейчас: на том свете, в раю, на небесах?

Смогу ли дотянуться до тебя словами, обласкать тебя их тихой нежностью?



**Рядом с мамой на кладбище** покоятся другие женщины, из Могилева или Лиозно. Упокоились чьи-то сердца. Они разорвались от горя, от болезней. Я-то знаю. Все дело в сердце, из-за него скончалась молодой моя румяная бабушка, изнурявшая себя работой, пока дед про-сиживал целыми днями в синагоге или на печке.

Добрейшее сердце ее остановилось в первое полнолуние нового года, после поста Суд-ного дня.

А ты, мой милый нестареющий дед!

Как я любил приезжать в Лиозно, в твой дом, пропахший высохшими коровьими шку-рами! Бараньи мне тоже нравились. Вся твоя амуниция висела обычно при входе, у самой двери: вешалка с одеждой, шляпами, кнутом и всем прочим смотрелась на фоне серой стенки, как какая-то фигура – никак не разгляжу ее толком. И все это – мой дедушка.

В хлеву стоит корова с раздутым брюхом и смотрит упрямым взглядом.

Дедушка подходит к ней и говорит:

«Эй, послушай, давай-ка свяжем тебе ноги, ведь нужен товар, нужно мясо, понимаешь?»

Корова с тяжким вздохом валится на землю.

Я тяну к ней руки, обнимаю морду, шепчу ей в ухо: пусть не думает, я не стану есть ее мясо; что же еще я мог?

Корова слышит шорох колосьев, видит синее небо над забором.

Но мясник, весь в черном и белом, уже взял нож и закатывает рукава. Скороговоркой бормочет молитву и, запрокинув голову корове, взрезает ей горло.

Кровь так и хлещет.

Сбегаются собаки, куры и покорно ждут, не достанется ли и им капельки крови, не пере-падет ли кусочек мяса.

Слышно только, как они тихо кудачнут, переступают лапами да дед вздыхает, копошась в крови и жире.

А ты, коровка, ободранная, распятая и воздетая, – ты грезишь. Сияющий нож вознес тебя над землей.

Тишина.

Дед отделяет потроха, разделявает тушу на куски. Падает шкура.

Розовое мясо сочится кровью. Пар валит от него.

Вот это ремесло у человека!

Мясо само просится в рот.

И так каждый день: резали по две, по три коровы, местный помещик да и простые обы-ватели получали свежую говядину.

Для меня дедов дом был полон звуков и запахов искусства.

Повсюду, как белье для просушки, были развешаны шкуры.

Ночью в темноте мне чудилось, что не только запах, но и сами коровы здесь, в доме: чудесное стадо, возносящееся на небо сквозь крышу.

Коров убивали жестоко. Но я все прощал. Распятые, точно мученики, шкуры смиренно обращали к небу-потолку молитву об отпущении грехов убийцам.

Бабушка всегда кормила меня как-то по-особому приготовленным – жареным, печеным или вареным – мясом. Каким? Не знаю толком. Может, это была брюшина, или шея, или ребра, а может, печенка, легкие. Не знаю.

Словом, в то время я был страшно глупым и, кажется, счастливым.

Вот что еще я помню о тебе, дедушка.

Как-то раз дед наткнулся на рисунок, изображавший обнаженную женщину, и отвер-нулся, как будто это его не касалось, как будто звезда упала на базарную площадь и никто не знал, что с ней делать.

Тогда я понял, что дедушка, так же как моя морщинистая бабуля и вообще все домашние, просто-напросто не принимал всерьез мое художество (какое же художество, если даже непохоже!) и куда выше ценил хорошее мясо.

А еще мама рассказывала мне о своем отце, моем дедушке из Лиозно. Или, может, мне это приснилось.

Был праздник: Суккот<sup>3</sup> или Симхас-Тора.

Деда ищут, он пропал.

Где, да где же он?

Оказывается, забрался на крышу, уселся на трубу и грыз морковку, наслаждаясь хорошей погодкой. Чудная картина.

Пусть кто хочет с восторгом и облегчением находит в невинных причудах моих родных ключ к моим картинам.

Меня это мало волнует! Пожалуйста, любезные соотечественники, сколько душе угодно!

Если потомкам не хватает доказательств того, что вы правы и я не в ладах со здравым смыслом, послушайте, что еще рассказывала мама о моих чудаковатых родственниках из Лиозно.

Кто-то из них вздумал однажды прогуляться по городу в одной сорочке.

Ну и что? Разве это так страшно?

Только представлю этого санюлота, и солнечным весельем наполняется душа. Как будто улица Лиозно вдруг превратилась в творение Мазаччо или Пьеро делла Франческа. Я бы и сам пошел с ним рядом.

Впрочем, я не шучу. Если мое искусство не играло никакой роли в жизни моих родных, то их жизнь и их поступки, напротив, сильно повлияли на мое искусство.

Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом.

Сколько мне, бедному, приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться! И наконец я здесь, лицом к окну, с раскрытым молитвенником в руках, и могу любоваться видом местечка в субботний день.

Синева неба под молитвенный гул казалась гуще. Дома мирно парили в пространстве. И каждый прохожий как на ладони.

Начинается богослужение, и деда приглашают прочитать молитву перед алтарем. Он молится, поет, выводит сложную мелодию с повторами. И в сердце у меня словно крутится колесико под масляной струей. Или словно растекается по жилам свежий сотовый мед.

Когда же он плачет, я вспоминаю свой неоконченный рисунок и думаю: стану ли я великим художником?

Чуть не забыл упомянуть тебя, дядюшка Нех. Мы ездили с тобой по деревням за скотом на убой<sup>4</sup>. Как я радовался, если ты соглашался посадить меня в свою колымагу!

Худо-бедно, она ехала. Зато было на что поглядеть по сторонам.

Дорога, дорога, слоистый песчаник, дядя Нех сопит и погоняет лошадь: «Но! Но!»

На обратном пути я решаю проявить изобретательность и ловкость и тяну корову за хвост, упрямивая ее не отставать. Когда мы переезжаем бревенчатый мостик, в животе будто подпрыгивают деревянные котлеты. И стук колес здесь другой.

---

<sup>3</sup> *Суккот* – праздник Шалашей, или Кущей, связанный со сбором урожая и воспоминаниями об исходе из Египта. На протяжении семи дней полагалось жить в легких постройках (шалашах, или кушах), из которых видно небо. В обрядах использовались листья пальмы, миртовые или ивовые ветви (лулав) и лимонные плоды. (См. картину Шагала «Праздник, или Раввин с лимоном», 1914.) *Симхас-Тора* – праздник Торы, который завершает годичный цикл чтения глав Пятикнижия и отмечается на 8-й или 9-й день праздника Суккот.

<sup>4</sup> ...ездили с тобой по деревням за скотом на убой. – Описываемый эпизод положен в основу картины «Продавец скота» (1912).

Дядя правит, не глядя на речку с камышами, кладбищенскую ограду вдоль берега, мельницу; торчащую вдали церквушку, единственную на всю округу, лавчонки на базарной площади, куда мы въезжаем, когда уже темнеет, и бог знает что творится у меня на душе.

Все торгуют, за прилавками сидят девушки.

Ничего не понимаю.

Едва завидев, они улыбаются, окликают меня из своих лавок. У меня пышные кудри. Мне суят рогалики, конфеты. Такой парнишка пропадает зря. Ну чем я виноват? Не могу же я разорваться?

Я бы предпочел написать портреты моих сестер и брата красками.

Охотно соблазнился бы гармонией их кожи и волос, так бы и набросился на них, опьяняя холст и зрителей буйством моей тысячелетней палитры!

Но описать их словами! Попробую разве что дать хоть какое-то представление о тетушках. У одной был длинный нос, доброе сердце и дюжина детей, у другой – нос покороче и полдюжины детей, но больше их всех она любила самое себя – а что такого? У третьей нос как на портретах Моралеса и трое детей: заика, глухой и еще неизвестно какой – совсем младенец.

Тетя Марьяся была самой бледной. Ей, такой чахлой, было не место на городской окраине.

Напротив ее дома лавка, там вечно толкуются мужики.

Торгуют селедками из бочек, овсом, остроконечными сахарными головами, мукой, свечами в синих обертках.

Звенит мелочь.

И мужики, и торговцы – дети Божьи; целый день стоит гомон и густой дух.

Тетя лежит на диване. Сложив крест-накрест желтые руки. Ногти – серо-белые. Глаза – желто-белые. Зубы матово поблескивают.

Под черным платьем – худое изможденное тело.

Грудь впалая, живот – тоже.

Ей внятны небесные звуки.

Наверно, она скоро умрет, и ее скрюченное тело с тихой радостью упокоится на местном кладбище.

Сколько раз я мечтал, чтобы она уронила кусочек рогалика с маслом и он очутился у меня во рту.

Стоял в дверях и взором нищего смотрел на слоистую корочку.

Совсем другое дело – тетя Реля.

Ее носик похож на огурчик-корнишон. Ручки прижаты к обтянутой коричневым лифом груди.

Она гогочет, смеется, вертится, егозит.

Из-под верхней юбки торчит нижняя, из-под одной косынки – другая; вспархивает бело-зубая улыбка, в волосах запутались гребни и шпильки.

Вся будто на сметане и зовет меня попробовать свежего сыра.

Потом у нее умер муж. Их кожевня закрылась. И все козы в округе горько оплакивали эту потерю.

А тетушки Муся, Гутя, Хая!

Крылатые, как ангелы, они взлетали над базаром, над корзинками ягод, груш и смородины.

Люди глядели и спрашивали:

«Кто это летит?»

Дядюшек у меня тоже было полдюжины или чуть больше.



Все – настоящие евреи. Кто с толстым брюхом и пустой головой, кто с черной бородой, кто – с каштановой.

Картина, да и только.

По субботам дядя Нех надевал плохонький талес<sup>5</sup> и читал вслух Писание.

Он играл на скрипке. Играл как сапожник.

Дед любил задумчиво слушать его.

Один Рембрандт мог бы постичь, о чем думал этот старец – мясник, торговец, кантор, – слушая, как сын играет на скрипке перед окном, заляпанным дождевыми брызгами и следами жирных пальцев.

Там, за окном, темно.

Спит в своем доме батюшка, а дальше – никого, одни духи.

Но дядя все играет.

Целый день он загонял коров, валил их за связанные ноги и резал, а теперь играет песнь раввина.

Какая разница, хорошо или плохо! Я улыбаюсь, примериваясь к его скрипке, прыгая ему то в карман, то прямо на нос.

Он жужжит, как муха.

Голова моя плавно порхает по комнате.

Потолок стал прозрачным. И вместе с запахами поля, хлева, дороги в дом проникают синие тучи и звезды.

Я засыпаю.

Мне досталась ложка, корка хлеба, и я рад, что перекусил исподтишка.

Дядя Лейба сидит на лавке перед своим деревенским домом.

Озеро. На берегу, точно рыжие коровы, бродят его дочери.

Дядя Юда не слезает с печи. Даже в синагогу почти не ходит.

Молится дома, перед окном.

Бормочет себе под нос. Лицо у него желтое, и желтизна сползает с оконного переплета на улицу, ложится на церковный купол. Он похож на деревянный дом с прозрачной крышей.

Его я бы мигом нарисовал.

Дядя Израэль на своем постоянном месте в синагоге. Сидит, держа руки за спиной.

Закрыв глаза и греется у печки.

На столе – зажженная лампа. Пол и алтарь тонут в темноте.

Дядя, раскачиваясь, читает и поет, бормочет и вздыхает.

И вдруг встает:

«Пора творить вечернюю молитву».

Уже вечер. Голубые звезды. Фиолетовая земля. Закрываются лавки.

Скоро подадут ужин, поставят сыр, тарелки.

Почему я не умер там, среди вас, свернувшись где-нибудь под столом?

Дядя боится подавать мне руку. Говорят, я художник.

Вдруг вздумаю и его нарисовать?

Господь не велит. Грех.

Другой мой дядя, Зюся, парикмахер, один на все Лиозно. Он мог бы работать и в Париже. Усики, манеры, взгляд. Но он жил в Лиозно. Был там единственной звездой. Звезда красовалась над окном и над дверями его заведения. На вывеске – человек с салфеткой на шее и намыленной щекой, рядом другой – с бритвой, вот-вот его зарежет.

Дядя стриг и брил меня безжалостно и любовно и гордился мною (один из всей родни!) перед соседями и даже перед Господом, не обошедшим благостью и наше захоlustье.

---

<sup>5</sup> Талес (или талиф) – прямоугольное молитвенное покрывало с черными или голубыми полосами.

Когда я написал его портрет и подарил ему, он взглянул на холст, потом в зеркало, подумал и сказал:

«Нет уж, оставь себе!»

Да простит мне Господь, если в эти строки я не смог вложить всю щемящую любовь, которую питаю ко всем людям на свете.

А мои родные – самые святые из них.

Так я хочу думать.

Зеленые заросли. Здесь ваши могилы. Ваши надгробия. Заборы, мутная речка, утоленные молитвы – все перед глазами.

Слова не нужны. Все во мне: то притаится, то зашевелится, то взметнется, как память о вас.

Белизна и худоба ваших рук, ваших высохших костей, – у меня сжимается горло.

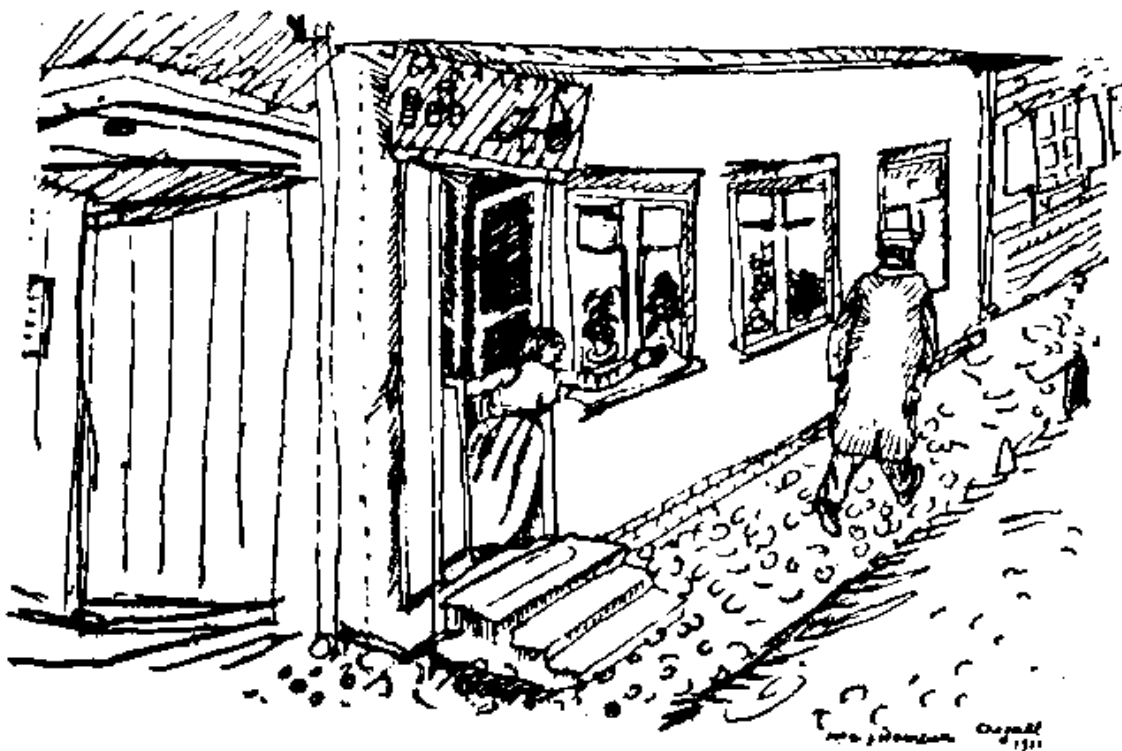
Кому молиться?

Вас ли просить, чтобы вы вымолили у Бога чуточку счастья, радости?

Я часто смотрю в пустое синее небо, смотрю с печалью, с жалостью, но без слез.

Родные мои, я не тот, что прежде, невесел и разочарован.

Но довольно! Прощайте!



Каждый день, зимой и летом, отец вставал в шесть утра и шел в синагогу. Помянув неперменной молитвой покойных родственников, он возвращался домой, ставил самовар, пил чай и уходил на работу.

Работа у него была адская, каторжная.

Об этом не умолчишь. Но и рассказать не так просто.

Никакими словами не облегчить его участи. (Только, пожалуйста, не надо ни сострадания, ни уж тем более жалости!)

На столе у нас всегда было вдоволь масла и сыра.

Вообще в детстве я не выпускал из рук кусок хлеба с маслом, этот извечный символ достатка.

Мы все – и я, и братья, и сестры – всюду, куда бы ни шли: во двор, на улицу, даже в уборную, – прихватывали хлеб с маслом.

С голоду? Ничуть.

Просто привычка. Мы зевали, мечтали и вечно что-нибудь жевали и грызли.

Еще водилась за нами привычка по... вечером у крылечка.

Простите за грубость! Впрочем, невелика и грубость.

Это так понятно: темно, луна, страшно отойти от дома, ноги не слушаются.

А наутро отец ругал нас, детей, за свинство.

Я любил поспать. Причем не ночью, а утром, когда солнышко заглядывает в окно из-под крыши.

Уже проснулись мухи и все норовят сесть мне на нос.

– Ну сколько же можно?

Это входит отец с ремнем в руке:

– Не пора ли тебе в школу?

Я разглядываю голубые обои, паутину под потолком, гляжу в окно на соседние дома и думаю:

«В самом деле, все уже, наверно, встали. Хватит валяться».

Слышно, как кто-то входит в столовую, женский голос говорит:

«Мне, пожалуйста, на три копейки селедочки. У вас такая вкусная».

Окончательно просыпаюсь. Сколько времени? Утро. Чай на столе. Передать его цвет и аромат просто не под силу. Сладкий чай с рогаликом согревает живот.

По пятницам отец отмывался. Мама грела на печке кувшин воды и терпеливо поливала ему, пока он тер грудь, черные руки, мыл голову и ворчал, что в доме нет порядка, вот кончилась сода.

«Восемь ртов – и все на мне! Помощи ни от кого не дождешься».

Я глотал слезы и думал о своем несчастном художестве, о том, что со мной будет. Меня мутило от горячего пара, смешанного с запахом мыла и соды.

Субботние свечи – дух перехватывало, когда я глядел на них, так же как в дедовом хлеву, когда резали корову.

Священная кровь. Жар и смятение.

Субботний ужин – отец чисто вымыт, в белой рубаше, от него так и веет покоем. Хорошо!

Приносят кушанья. Какая вкуснота!

Фаршированная рыба, тушеное мясо, цимес, лапша, холодец из телячьих ножек, бульон, компот, белый хлеб. Поневоле разомлеешь.

Отца клонит ко сну.

Я всегда с завистью смотрел на приготовленное специально для него жаркое.

Следил жадными глазами, как мама снимала с печи горшок, накладывала куски на тарелку и ставила горшок обратно.

Может, и мне достанется кусочек или хоть косточка?

А папа, усталый, грустный, ел словно через силу. Усы его уныло шевелились.

Я смотрел ему в рот, как собака. И не я один.

Рядом сестренки, чуть подальше – брат. И всем ужасно хотелось отведать жаркого из такого вот горшка. Еще бы!

«Вот вырасту, – думал я, – сам стану отцом, главой семьи, и буду есть жаркое сколько захочу».

Субботняя трапеза всегда настраивала меня на мысли о будущем, о том, что жить, пожалуй, стоит.

Последний кусок мяса переключивал с отцовской тарелки на мамину и возвращался обратно.

«Поешь и ты». – «Нет, это тебе».

Папа засыпал, не успев прочитать молитву (ну что поделаешь?), и мама со своего места около печки затягивала субботний гимн, а мы подпевали.

Я вспоминал, как поет дедушка-кантор.

Вспоминал колесико и струйку масла и невольно всхлипывал, и мне хотелось забиться в самый дальний угол, за занавеску, уткнуться в мамин подол.

Она допевала песнь громко и протяжно, заливаясь слезами.

Какое сердце (только не мое) не разрывалось бы в такой вечер при мысли, что на улице пустынно, только копят фонари да мерзнут бродяги?

Догорают свечи на столе, гаснут светочи небесные.

От свечной гари болит голова.

Но выйти во двор страшно.

Однажды поздно вечером я наткнулся на воровку.

«Я с кладбища, – сказала она. – Где здесь трактир?»

Все отправляются спать. Издалека, со стороны базарной площади, доносится музыка. В городском саду гулянье.

Там, ласково склонясь друг к другу, сплетают ветви деревья, шепчутся листья.

Субботними вечерами за столом собирались все дети. А в будни папа до десяти часов сидел и пил свой чай в одиночестве. Первой возвращалась с прогулки старшая из сестер – Аня, заходила сначала в лавку и вылавливала за хвост селедку из бочки. Потом прибегали младшие, и каждая тоже вытягивала по селедке.

Селедка, соленые огурцы, сыр, масло, черный хлеб. Тусклая лампа на столе. Вот и весь наш ужин.

Ну и чем плохо?

А еще по будням меня пичкали гречкой. Это была сущая пытка.

Набиваешь рот рассыпчатой кашей, как дробью.

Это уже потом, в советское время, я научился ценить и даже любить и пшенку, и перловку – особенно когда приходилось тащить мешок на собственном горбу.

Обычно перед ужином я засыпал одетым, и матушке приходилось будить своего старшего:

– И что это с ним: как ужинать, так он засыпает. Иди есть, сынок!

– А что на ужин?

– Каша.

– Какая?

– Гречневая с молоком.

– Я хочу спать, мамочка.

– Сначала поешь.

– Я это не люблю.

– Ну хоть попробуй. Станет плохо – больше не будешь.

Признаться, иногда я просто притворялся, что мне плохо.

Подобное притворство не раз меня выручало, но это было уже в другое время, в другом месте и в других обстоятельствах.

Зима. Я стою и греюсь у черного жерла печки, но мысли где-то витают.

Рядом сидит мама: дородная, пышная – королева.

Папа поставил самовар и скручивает сигарки.

А вот и сахарница! Ура!

Мама все говорит, говорит, постукивает пальцем по столу и покачивает башней-прической.

Чай у нее остыл. Папа слушает, глядя на очередную сигарку. Перед ним уже целая горка.

Ночь. Лежу и вижу на стене тень, – может, висит полотенце. Мне же чудится, будто это привидение, какой-то дядька в длинном талесе.

Он вдруг улыбается. Грозит мне. А может, тетка, а может, козел?

Я вскакиваю и бегу к родительской спальне, только до двери, потому что войти боюсь, – страшно глядеть на спящего отца, как он лежит с открытым ртом, борода торчком, и храпит.

Шепчу под дверью:

– Мама, мне страшно.

Слышу мамин голос сквозь сон:

– Да что с тобой?

– Мне страшно.

– Иди спи.

И я тут же успокаиваюсь.

Керосиновый ночничок обволакивает мою душу, и я тихонько иду к своей кровати, на которой мы с братом Давидом спим головами в разные стороны.

Бедный Давид! Покойся в Крыму среди чужих. Он был так молод и так любил меня – звук его имени милее мне, чем имена заманчивых далеких стран, – с ним доносится запах родного края.

Брат мой. Я ничего не мог сделать. Туберкулез. Кипарисы. Ты угас на чужбине.

Но было время, когда мы спали в одной кровати.

По ночам мне казалось, что стены надо мной смыкаются.

Тускло горел ночник, и на потолке шевелились тени. Я зарывался в подушку.

Помню, как-то у самого уха вдруг зашуршала мышь. Я с перепугу давай кричать, хватаю ее и швыряю на другой конец кровати. Давид пугается не меньше и перебрасывает мышь обратно. В конце концов мы вдвоем топим ее в ночном горшке.

За окном уже утро, новое и священное, – мы наконец засыпаем.

Если мне бывало уж очень страшно, мама брала меня к себе.

Это было самое лучшее укрытие.

Тут уж никакое полотенце не превратится в козла или старика, никакой мертвец не пролезет сквозь заиндевевшее стекло.

И мрачное высокое зеркало в гостиной не кажется таким ужасным.

Души предков, давно отцветшие девичьи улыбки замрут в его углах и в завитушках резной рамы.

Пока я рядом с мамой, мне не страшны ни люстра, ни диван.

И все-таки я боюсь. Мама такая большая, груди как подушки. Ее тело с возрастом раздалось, сказались частые роды, тяготы материнства, – ноги отекли, распухли, – я боюсь случайно прикоснуться и разогнать сладкую истому, дар нашего тихого захолустья.

Накануне наших болезней маме всегда снился вещий сон.

Ночь. Зима. Дом спит.

И вдруг покойная бабушка Хана со стуком захлопывает снаружи форточку и говорит: «Почему, дочь моя, ты оставляешь открытым окно в такой холод?»

Или еще: какой-то старик, выходец с того света, весь в белом, с длинной бородой, является в дом. Стоит на пороге и просит подаяния. Я протягиваю ему кусок хлеба. А он молча бьет меня по руке. Хлеб падает на землю.



«Хазя, – говорит матушка, просыпаясь, – пойдика взгляни на детей».  
И точно – кто-нибудь из нас заболевал.

Плетни и крыши, срубы и заборы и все, что открывалось дальше, за ними, восхищало меня.

Что именно – вы можете увидеть на моей картине «Над городом». А могу и рассказать.



Цепочка домов и будок, окошки, ворота, куры, заколоченный заводик, церковь, пологий холм (заброшенное кладбище).

Все как на ладони, если глядеть из чердачного окошка, примостившись на полу.

Я высовывал голову наружу и вдыхал свежий голубой воздух. Мимо проносились птицы.

Вот кумушка идет, разбрызгивая грязь.

Гляжу на ее ноги в чулках и башмаках. Мои любимые черепки и камушки все в грязи. Кумушка спешит на свадьбу. Она бездетная.

И вот спешит оплакивать участь невесты.

Мне нравятся музыканты на свадьбах, их польки и вальсы.

И я тоже бегу и тоже плачу, прижавшись к маме. Слезы так и льются, когда бадхан<sup>6</sup> громким голосом поет и причитает:

«Ох, невеста, невеста, что тебя ожидает!»

Что ожидает?

При этих словах голова моя легко отделяется от тела и уносится плакать куда-нибудь поближе к кухне, где стряпают рыбу.

Но хватит слез.

Все утирают глаза и носы, в воздух взлетают пригоршни разноцветных бумажных кружочков – конфетти.

Поздравляем! Желаем счастья!

Все мы – старики и молодежь, нищие и музыканты – ликуем, хлопаем в ладоши, беремся за руки. Мы обнимаемся, поем, пляшем вкруговую.

«Поздравляем!»

А мне с кем обняться?

Ищу кого-нибудь.

Но не с почтенной же тетусшкой и не с бородатым дядькой.

Я ищу какую-нибудь девоньку.

В соседних с нашим домами жили другие семьи, каждая со своими заботами.

Прямо за нами – дом ломового извозчика.

Он трудился не меньше, чем его лошадь. Прилежная скотина старалась изо всех сил, таскала тяжелую телегу. Но еще больше надрывался извозчик.

Долговязый и тощий, выше лошади, длиннее, чем телега. Он восседал на козлах, с кнутом и вожжами в руках, похожий на капитана парусного судна. Вот только ветра не было.

Наоборот. Затишье, полный штиль.

Зарабатывал он мало. Жена его незаконно торговала спиртным, но чуть не всю водку тайком, в одиночку, выпивал муженек.

И тогда о тишине не приходилось и мечтать. Петать он не умел.

Напившись, шел к своей лошади и ржал перед ней. А та, уж верно, смеялась в ответ.

Впрочем, он быстро забывал про лошадь, шатаясь, шел к телеге и валился в нее.

Напротив стоял покосившийся домишко.

Там жила Танька – прачка и воровка. А на другой половине – печник с женой и кучей ребятишек.

С утра до ночи оттуда слышались шумные ссоры.

Голоса доносились из печки, около которой стояло ведро с водой на случай пожара.

Иногда, вдоволь накричавшись на супруга, жена выходила посидеть на скамеечке и подышать свежим воздухом.

---

<sup>6</sup> Бадхан – шут, увеселитель на свадьбах, участвующий в свадебном ритуале.

Если мне тоже случалось выйти в это время из дому, она качала головой, как бы говоря: «Видал, каков паршивец? А послушать его – так он прав!»

Слева в небольшом, тоже деревянном домике жили два, а вернее, полтора человека – один был карлик.

Они торговали лошадьми. Да еще воровали голубей: выманивали из чужих голубятен и угоняли на лету.

На улице частенько приставали к прохожим.

Однажды мне даже показалось – я был совсем маленьким, – что один из них хочет утащить меня с собой.

По соседству с печником жила семья булочника, самая почтенная на нашей улице.

Уже с пяти утра у них в окнах горел свет, а из трубы шел дым. Печка на кухне пылала вовсю.

Час-другой – и готовы целые корзины отличных, свежеспеченных булок. Я бежал туда с утра пораньше и выходил довольный, с парой горячих рогаликов.

С каким страхом я глядел на соседских девчонок!

Бывало, мое смятение передавалось девочке и она заворуженно подходила ко мне. Постояв и мучительно помывшись, мы расходились.

Не помню уж, сколько мне было лет, когда, играя как-то с маленькой Ольгой, я сказал, что не отдам ей мячик, если она не покажет мне ногу.

«Покажи вот до сих пор, тогда получишь свой мячик!»

Сегодня я сам удивляюсь такому нахальству. И главное, все было зря, вот что обидно.

Чаще всего я играл в домино, перышки и городки, лазил по недостроенным домам с приятелем, который, к моему изумлению, стучал по доскам своим...

Но бывало, проводил целые дни на реке. Нырля с мостков, вылезал погреться и снова лез купаться.

Вот только каждый раз, когда я заходил нагишом в воду, приходилось терпеть безжалостные насмешки приятеля.

«Нет, поглядите только, какая у него махонькая штучка!»

Издевки этого рыжего балбеса бесили меня.

Вечно одно и то же.

Можно подумать, у него лучше, ишь, вымахал здоровенный олух, шалопай и бесстыдник.

Плыву по реке, кругом ни души. Стараюсь не баламутить воду.

По сторонам мирный городок. Молочное, серо-голубоватое небо, слева синева ярче, и с высоты льется блаженство.

Вдруг над крышей синагоги, на другом берегу, взвивается дым.

Загорелись и, верно, возопили свитки Торы и алтарь.

Со звоном вылетают стекла.

Скорей – на берег!

Голышом бегу по доскам к одежде.

Обожаю пожары!

Огонь со всех сторон. Уже полнеба в дыму. В воде отражается зарево.

Закрываются лавки.

Повсюду суতোлка – люди бегут, запрягают лошадей, вытаскивают добро.

Кричат, зовут друг друга, суетятся.

И вдруг со щемящей нежностью я думаю о нашем доме.

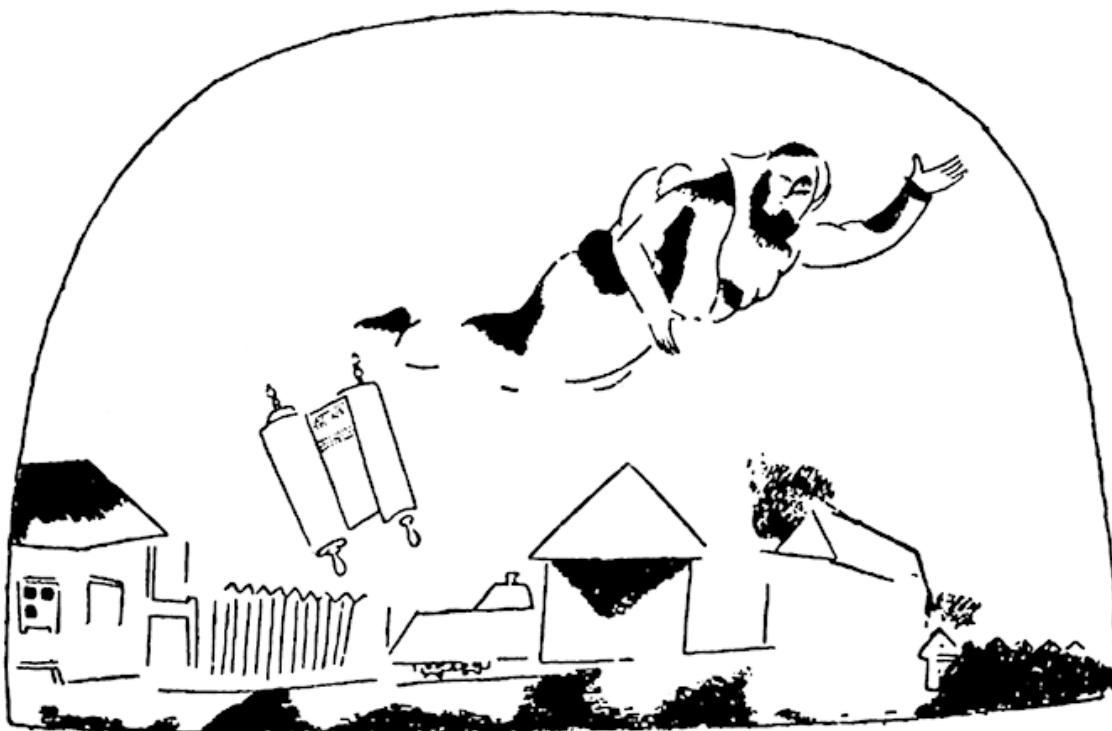
Бегу к нему, взглянуть последний раз, проститься.

На нашу крышу падают горящие угли, по стенам мечутся тени, отблески пламени.

Дом ошарашенно замер.

Мы с отцом и все соседи поливаем водой – спасаем его.

Вечером я залезаю на крышу посмотреть на город после пожара.  
Все дымится, обваливается, рушится.  
Спускаюсь вниз уставший, удрученный.



**Однако мои таланты** не исчерпывались искусной игрой в перышки и городки, плаванием в речке и лазаньем по крышам на пожаре.

Слышали бы вы, как я, мальчишкой, распевал на весь Витебск!

В нашем дворе жил маленький, но крепкий старичок.

Его длинная, черная, с легкой проседью, борода болталась на ходу, то взметаясь ввысь, то повисая дёлу.

Это был кантор и учитель.

Правда, и кантор, и учитель неважный.

Я учился у него грамоте и пению.

Почему я пел?

Откуда знал, что голос нужен не только для того, чтобы горланить и ругаться с сестрами?

Так или иначе, голос у меня был, и я, как мог, развивал его.

Прохожие на улице оборачивались, не понимая, что это пение. И говорили:

«Что он вопит как ненормальный?»

Я подрядился помощником к кантору, и по праздникам вся синагога и я сам ясно слышали мое звонкое сопрано.

Я видел улыбки на лицах усердно внимавших прихожан и мечтал:

«Пойду в певцы, буду кантором. Поступлю в консерваторию».

Еще в нашем дворе жил скрипач. Не знаю, откуда он взялся.

Днем служил приказчиком в скобяной лавке, а по вечерам обучал игре на скрипке.

Я пиликал с грехом пополам.

Он же отбивал ногой такт и неизменно приговаривал:

«Отлично!»

И я думал:

«Пойду в скрипачи, поступлю в консерваторию».

Когда мы с сестрой бывали в Лиозно, все родственники и соседи звали нас к себе потанцевать. Я был неотразим, с моей кудрявой шевелюрой.

И я думал: «Пойду в танцоры, поступлю...» – где учат танцам, я не знал.

Днем и ночью я сочинял стихи.

Их хвалили.

И я думал: «Пойду в поэты, поступлю...»

Словом, не знал, куда податься.

Вы видали нашу Двину в дни осенних праздников?

Мостки уже разобраны. Больше не купаются. Холодно.

По берегам евреи стряхивают в воду свои грехи. Где-то в темноте плывет лодка. Слышны всплески весел.

Глубоко в воде, вверх ногами, покачивается отцовское отражение.

Он тоже вытряхивает из своей одежды все грехи до последней пылинки.

В эти праздники меня будили в час или в два часа ночи, и я бежал петь в синагогу. И зачем это надо нестись куда-то ни свет ни заря? То ли дело нежиться в постели.

Множество народу спешит во тьме в синагогу, прогоняя сон.

Вернуться домой и поспать они смогут только по окончании молитвы.

Утренний чай и сласти, похожие формой и цветом на восточные сокровища; красиво расставленные блюда; возглашаемые над столом молитвы, без которых нельзя начать торжественную трапезу.

А накануне вечером трапеза священного Судного дня.

Курица, бульон.

Сияющие свечи видны издалека.

Их понесут в синагогу.

Уже несут. Белые стройные свечи, свечи мольбы и покаяния.

Они зажжены во имя умерших, за маму и отца, за братьев, деда, за всех покоящихся в земле.

Сотни свечей в ящиках с землей, словно пламенеющие гиацинты.

Пламя растет и разгорается.

А рядом с ними лица, бороды, белые фигуры теснятся стоя, сидя и склонившись.

Отец, сутулый, задыхающийся, собирается в синагогу и перед уходом показывает матери загнутые страницы в молитвеннике:

«Вот отсюда досюда».

Он садится за стол, отчеркивает нужные места карандашом или ногтем.

И пишет в уголке: «Начинай здесь».

В особо драматическом месте помечает: «Плачь». В другом: «Слушай кантора».

И мама шла в синагогу, уверенная, что не станет рыдать невпопад.

В крайнем случае – если не могла уследить за словами молитвы, – она смотрела с ответного для женщин балкона вниз.

В положенном месте, где отмечено «плачь», она вместе с другими женщинами принималась проливать священные слезы. Щеки покраснели, по ним скатывались влажные бриллиантики и капали на страницы.

Папа весь в белом.

Каждый год в великий день Йом-Кипур он казался мне пророком Илией.

Лицо его от слез желтее обычного, с каким-то кирпичным оттенком.

Он плакал просто, тихо, без ужимок и вовремя.

Без театральных жестов.

Только вскрикивал порой «ох-хо!», поворачиваясь к соседям, чтобы призвать их к тишине во время молитвы или попросить понюшку табаку.

Я же убегал из синагоги и забирался в сад. Перелезал через забор и срывал зеленое яблоко покрупнее.

Вгрызался в него, несмотря на пост.

Лишь чистое небо смотрело, как я, грешник, трепеща, кусал сочное яблоко и объедал его до самой сердцевины.

Я просто не мог выдержать пост до конца и вечером на вопрос матушки: «Ты постился?» – казнясь, отвечал: «Да».

Чтобы описать вечернюю молитву, у меня не хватит слов.

Я думал, что все святые собираются в этот час в синагоге.

Торжественно, неспешно евреи разворачивают священные покрывала, впитавшие слезы целого дня покаянных молитв.

Их одеяния колыхнутся, как веера.

И голоса их проникают в ковчег, чьи недра то открываются взорам, то затворяются вновь.

Я еле дышу. Стою не шевелясь.

Бесконечный день! Унеси меня, приблизь к себе. Скажи сокровенное слово!

Целый день со всех сторон слышится «аминь, аминь!», все преклоняют колена.

«Если Ты есть, Боже, сделай так, чтобы я вдруг стал весь голубой или прозрачный, как лунный луч, всели в меня рвение, спрячь меня в алтаре вместе с Торой, сделай что-нибудь ради нас, ради меня».

Наш дух воспаряет, и руки взмываются вверх, вдоль раскрашенных окон.

На улице бесшумно раскачиваются голые ветки высоких тополей.

На ясное небо набегают и рассеиваются облачка.

Скоро выйдет луна, половина диска.

Свечи догорают, маленькие огоньки искрятся в непорочной синеве.

То свечка подлетит к луне, то вдруг луна кубарем скатится нам в руки.

Сама дорога молится. Плачут дома.

Огромное небо плывет.

Зажигаются звезды, и прохлада вливается в открытый рот.

Так мы возвращаемся домой.

Есть ли вечер светлее, ночь прозрачнее нынешней?

Отец, усталый и голодный, сразу ложится.

Все его грехи прощены, и матушкины тоже.

Один только я, может, остался немножко грешен.

А Пасха! Ни маца, ни пасхальный хрен – ничто не волнует меня так, как строки и картинки Агады, да еще полные бокалы красного вина. Так и хочется выпить их все.

Но нельзя.

Мне кажется, что в папином бокале вино еще краснее.

В нем отблеск темной королевской лилии, мрак гетто – удел еврейского народа, и жар Аравийской пустыни, которую прошел он ценою стольких мук.

Весомым конусом падает свет от висячей лампы.

Я вижу шатры среди песков, обнаженных евреев под палящим солнцем, они со страстью спорят, говорят о нас, о нашей участи, – и среди них – сам Моисей и Бог.

Отец поднимает бокал и посылает меня открыть настежь дверь.

Дверь настежь в такой поздний час, чтобы мог войти пророк Илия<sup>7</sup>?

---

<sup>7</sup> Пророк Илия. – Библейский рассказ о вознесении пророка на небо в огненной колеснице породил представления, что он не умер и должен вернуться на землю. Илию ожидали как предтечу мессии и как избавителя от гонений. В Пасху для него

Сноп звездных искр серебром по синему бархату неба – ударяет мне в глаза, проникает в сердце.

Но где же он, Илия, со своей белой колесницей?

Может, он уже во дворе и сейчас войдет в дом в облике убогого старца, согбенного нищего с сумой через плечо и клюкой в руке?

«Вот и я. Где мой бокал?»

Летом, когда богатые дети уезжали на каникулы, мама с жалостью говорила мне:

«Послушай, сынок, а не съездить ли тебе на пару недель к дедушке в Лиозно?»

Городок – как на картинке.

Я снова здесь.

Все на своих местах: домишки, речка, мост, дорога.

Все как всегда. И высокая белая церковь на главной площади.

Около нее горожане продают семечки, муку, горшки.

Хитрый мужик въезжает на телеге словно бы ненароком. Остановится то у одной, то у другой двери.

Восточного вида торговец или его вечно беременная жена шутливо его окликают:

«Иван, черт тебя побери! Ты что, меня не узнаешь? Не купишь ли чего сегодня?»

В базарные дни небольшая церковь набита битком.

Мужики с повозками, лотки, груды товаров так плотно окружают ее, что, кажется, самому Богу не остается места.

На площади крик, вонь, суета. Орут коты. Квохчут привезенные на продажу в корзинках связанные куры и петухи. Хрюкают свиньи. Ржут кобылы.

На небе беснуются краски.

Но к вечеру все затихает.

Снова оживают иконы, светятся лампы. Засыпают, улегшись в стойлах на навоз и тяжело сопя, коровы, утомонились и сидят, хитро помаргивая, на насестах куры.

Торговцы под лампой за столом считают барыши. Их дочери, уморившись, отдыхают. Дебелые, грудастые.

Нажмешь – так и брызнут сладкие белые струйки.

Светлая, колдовская луна кружит над крышами.

Один я мечтаю на площади.

Да зачарованная, почти прозрачная свинья застыла рядом как вкопанная.

Иду по улице. Столбики торчат вкривь и вкось.

Небо пепельно-голубое. Склоняют головы редкие деревья.

Так хочется проехаться верхом на лошади!

Но та, что есть у деда, не лошадь, а кляча с тощей шеей.

– Дядя, миленький, ну пожалуйста, я так хочу... – умоляю я дядюшку Неха.

– Что?

– Покататься на кобыле.

– Да ты же не умеешь.

– Умею, умею.

И вот кобыла стоит передо мной, опустив морду.

Такая печальная. Бормочет что-то.

А может, улыбается в траву.

Как бы влезть на нее? Я карабкаюсь по брюху, но никак. Седла на ней нет, а брюхо, скажу вам, изрядное.

Расставив ноги, растопырив руки, хочу запрыгнуть.



Но она отходит. И я лечу мимо, на землю. Наверняка сейчас лягнет копытом. Но кляча, весело взбрыкнув, несется что есть духу прочь.

Весь вечер мы ее ищем.

Дядя бранится. Куда же девалась кобыла?

Находим ее посреди леса – бредет себе, бренчит бубенчиком.

И как ни в чем не бывало щиплет травку.



**Шли годы.** Никуда не денешься, пора взрослеть и делаться как все.

И вот в один прекрасный день к нам явился учитель, маленький раби из Могилева.

Как будто сошел с моей картины или убежал из цирка.

Его и не приглашали. Он пришел сам, как сваха или гробовщик.

«Каких-нибудь полгода», – уверяет он матушку.

Ишь какой шустрый!

И вот я сижу, уставившись ему в бороду.

Я уже усвоил, что «а» с черточкой внизу будет «о». Но на «а» меня клонит в сон, а на черточке... В это самое время засыпает сам раби.

Он такой чудак!

Каждый день я прибегал к нему на урок и возвращался в потемках с фонарем.

По пятницам он водил меня в баню и укладывал на скамью.

Вооружившись березовым веником, внимательно изучал мое тело, будто страницу Священного Писания.

Таких раби у меня было трое.

Первый – этот клоп из Могилева.

Второй – раби Охре (о нем я не помню ничего, пустое место).

И третий – личность весьма примечательная, рано скончавшийся раби Дяткин.

Это он заставил меня выдолбить речь о «тфилим»<sup>8</sup>, которую я произнес, стоя на стуле, в день своего тринадцатилетия.

<sup>8</sup> Тфилим (тфилин) – кожаные коробочки с четырьмя отрывками из Торы, которые прикладывались ко лбу и к руке во

Признаться, потом я приложил все силы, чтобы забыть ее в ближайший час.

И все-таки больше всех мне запомнился первый маленький раби из Могилева.

Подумайте только, каждую субботу, вместо того чтобы бежать на речку, я, по маминому приказу, шел к нему изучать Писание.

И являлся как раз в тот час, когда раби с женой, совершенно раздетые, сладко спали после субботнего обеда. Изволь дожидаться, пока учитель встанет и наденет штаны!

Однажды, пока я стучался в закрытую дверь, меня заметила хозяйская собака, матерая рыжая псина, злая и клыкастая.

Уши у нее поднялись торчком, и она медленно стала спускаться с крыльца прямо ко мне...

Что было дальше, не помню. Меня подобрали у калитки, и только тогда я очнулся.

Собака искусала меня, рука и нога были в крови.

– Не раздевайте меня, только приложите лед...

– Надо отнести его домой, к матери, и поскорее.

В тот же день собаку отловили городовые и, прежде чем прикончить, выпустили в нее дюжину пуль.

А вечером дядя повез меня лечиться в Петербург.

Местные врачи объявили, что я умру через три дня.

Прекрасно! Все за мной ухаживают. Каждый день все ближе смерть. Я герой.

Собака оказалась бешеной.

Что же, я был не прочь отправиться в Петербург.

Мне казалось, что я обязательно встречу там на улице царя.

Переезжая через Неву, я решил, что мост подвешен прямо с неба.

Про укус я совсем забыл. Мне нравилось лежать одному на белоснежных простынях и получать на обед желтый бульон с яйцом.

Нравилось гулять в больничном садике, и я все высматривал среди богато одетых детишек наследника престола. Держался я особняком, ни с кем не играл, да и игрушек у меня не было. Первый раз в жизни я видел их столько, да еще таких красивых!

Дома мне игрушек не покупали.

Дядя, который меня привез, посоветовал взять потихоньку какую-нибудь завалявшуюся игрушку.

Я так и сделал и думал о своей чудесной игрушке куда больше, чем о больной руке.

А что, если придет цесаревич и отберет ее у меня?

Сестры подбадривающе улыбались. Но мне все время слышался плач хозяина присвоенной игрушки.

Наконец я выздоровел и вернулся домой.

Дом был полон принаряженных женщин и озабоченных мужчин, черными пятнами заставших дневной свет.

Все суетятся, шепчутся, и вдруг – пронзительный крик младенца.

Мама, полураздетая, бледная, без кровинки в лице, лежит в постели. Это родился мой младший брат.

Покрытые белыми скатертями столы.

Шорох ритуальных одеяний.

Бормочущий молитву старец отрезает острым ножом частицу плоти под животиком младенца.

---

время молитвы. Ритуал бар-мицва, упоминаемый в тексте, связан с совершеннолетием мальчика после исполнения ему 13 лет, когда он впервые получал право пользоваться тфилим. В дальнейшем отец переставал нести ответственность за его религиозную жизнь.

Высасывает губами кровь и заглушает бородой его истошный вопль.

Мне грустно. Я сижу за столом вместе со взрослыми и понуро жую пирожки, селедку, пряники.

С каждым истекшим годом я словно приближался к неведомому порогу. Особенно с тех пор, как мне исполнилось тринадцать и отец, облачившись в талес и склонившись надо мной, произнес молитву-посвящение.

Как быть?

Оставаться паинькой?

Молиться по утрам и вечерам и вообще сопровождать молитвой каждый шаг и каждый проглоченный кусок?

Или забросить все книги и молитвенные одеяния да бегать вместо синагоги на речку?

Я боялся наступающей зрелости, боялся, что у меня когда-нибудь появятся признаки взрослого мужчины, вырастет борода.

Когда меня осаждали эти грустные мысли, я целый день бродил в одиночестве, а к вечеру раздражался слезами, как будто меня побили или умер кто-нибудь из родных.

Через приоткрытую дверь я смотрел в темную большую гостиную. Никого. Только зеркало висит себе, одинокое, холодное, да таинственно поблескивает.

Я редко смотрелся в него. Вдруг кто-нибудь увидит, как я люблюсь сам собой.

Длинный нос с ох какими широченными ноздрями, торчащие скулы, грубый профиль.

Но иногда я задумывался, созерцая себя.

Я молод, но зачем мне это?

Зачем я расту?

В зеркале отражается бесполезная и недолговечная красота.

Раз мне уже тринадцать, конец детской беззаботности, отныне за все свои грехи я отвечаю сам. Так, может, не грешить?

Я громко хохочу, и в зеркало брызжет белизна зубов.

В один прекрасный день мама взяла меня за руку и отвела в городскую гимназию<sup>9</sup>. Едва увидев здание, я подумал:

«Наверняка у меня здесь заболит живот, а учитель не разрешит выйти».

Хотя, что и говорить, кокарда – штука соблазнительная.

Ее прикрепят на фуражку, и, возможно, надо будет отдавать честь прохожим офицерам?

Мы ведь все равны: чиновники, военные, полицейские, гимназисты?

Но евреев в эту гимназию не принимали. Моя отважная мама тут же отправилась к учителю.

Он – наш спаситель, единственный, с кем можно договориться. Пятьдесят рублей – не так уж много. Я поступаю сразу в третий, в его класс.

Надев форменную фуражку, я стал смелее поглядывать в открытые окна женской гимназии.

Форма была черной.

Мое естество громко возмущалось. И наверняка я еще больше поглупел.

Учителя носили синие сюртуки с золотыми пуговицами.

Я взирал на них с благоговением. Какие они ученые!

Откуда они взялись и чего хотят от меня?

Я смотрел в глаза Николаю Ефимовичу, изучал его спину и светлую бороду.

И не мог забыть, что он принял взятку.

---

<sup>9</sup> ...и отвела в городскую гимназию. – Во французском тексте учебное заведение, в которое поступил Шагал, названо городской школой («école communale»).

Другое дело – Николай Антонович, вот уж кто, без сомнения, был самым настоящим ученым. Весь урок он мерил класс размашистыми шагами. Правда, он читал реакционные газеты, но все равно он мне больше нравился.

Я не всегда понимал смысл замечаний, которые он делал некоторым ученикам.

Бывало, смотрит-смотрит на кого-нибудь, потом вызовет его и, глядя в глаза, скажет:

«Володя, ты опять?»

Что опять?

Прошло немало времени, прежде чем я понял, в чем дело.

Почему все, кроме меня, краснеют?

Как-то по пути домой я спросил одноклассника: за что же Николай Антонович ругает Володю?

Он с ухмылкой ответил:

«Дурень, не знаешь, что ли, Володя занимается о...».

Но это слово ничего мне не объяснило. Я по-прежнему был в неведении. Мой спутник прыснул.

Боже мой! Весь мир стал для меня иным, и сам я стал угрюмым.

Не знаю почему, я начал в это время заикаться. Может, из чувства внутреннего протеста.

Я отлично знал уроки, но не мог заставить себя отвечать. Такая забавная, но и весьма неприятная штука.

И дело не в отметках – плевал я на нули!

Ужас сковывал меня при взгляде на множество голов над партами.

Содрогаясь болезненной дрожью, я успевал, пока шел к доске, почернеть как сажа или покраснеть как рак.

И все. Иногда я вдобавок еще и улыбался.

Полный ступор.

И сколько бы мне ни подсказывали с первых парт – безнадежно.

Я действительно знал урок. Но заикался.

Мне казалось, я лежу без сил, а надо мной стоит и лает рыжая из страшной сказки собака.

Рот у меня забит землей, землей облеплены зубы.

Зачем мне все эти уроки?

Сто, двести, триста страниц учебников, изорвать бы их в клочья да развеять по ветру.

Пусть шелестят словами русского и всех заморских языков!

Отстаньте от меня!

«Ну что, Шагал, – говорил учитель, – ты будешь сегодня отвечать?»

Хочу остаться неучем, покрыться зеленью, рыдать, орать, молиться.

Я открываю рот: та... та... та...

Мне казалось, что меня сейчас сбросят с четвертого этажа.

Втиснутая в гимназическую форму душа дрожала, как лист на ветру.

Но в конце концов меня просто отправляли на место.

Рука учителя выводила в журнале аккуратную двойку.

Это я еще успевал заметить.

В окно были видны деревья, женская гимназия.

«Николай Антонович, можно выйти?»

Я думал только об одном: «Когда же я закончу гимназию, сколько еще учиться и нельзя ли уйти раньше срока?»

Если опроса не было, в классе стоял сплошной гул, и тут я вовсе терялся.

Меня шпыняли со всех сторон, а я не знал, куда деваться. Шарил по карманам, искал хлебные крошки. Ерзал, раскачивался, вставал и садился.

По улице проходит прекрасная незнакомка, я высовываюсь в окно, чтобы послать ей воздушный поцелуй.

И тут ко мне подкрадывается надзиратель. Хватает за руку, поднимает ее вверх.

Попался! Я краснею, багровею, бледнею.

«Напомнишь мне, негодник, чтобы завтра я поставил тебе двойку по поведению».

Как раз в это время я особенно пристрастился к рисованию. Едва ли понимая, что делаю.

Листочки с рисунками летали над партами, долетая иногда до учительского стола.

Мой сосед по парте, С..., погрузился в любимое развлечение, из-под парты слышен глухой шум...

Этот стук привлекает внимание учителя.

Молчание, смех.

– Скориков! – выкликает учитель. Сосед встает, краснеет и, схлопотав двойку, садится.

Больше всего я любил геометрию.

Здесь мне не было равных. Прямые углы, треугольники, квадраты – чудный, запредельный мир. Ну а на рисовании мне не хватало только трона.

Я был в центре внимания, мной восхищались, меня ставили в пример.

Но на следующем уроке я снова падал с небес на землю.

Я, не щадя себя, играл в городки и тренировался с двадцатикилограммовыми гирями, а в результате остался на второй год.

Дальнейшую учебу помню очень смутно.

Велика важность! Куда спешить?

Стать приказчиком или бухгалтером всегда успею. Пусть себе время идет, пусть тянется!

Опять я буду сидеть ночами, засунув руки в карманы, и делать вид, что занимаюсь. Опять мама будет кричать мне из своей комнаты:

– ...Хватит жечь керосин! Иди спать. Говорила же тебе: делай уроки днем! С ума ты, что ли, сошел! Дай мне спать.

– Но я же тихо, – отвечал я.

Я смотрю в книжку, но думаю о тех, кто сейчас гуляет на улице, о моей любимой речке, о плотах, что, покачиваясь, плывут под мостом и иногда врезаются в опоры.

Бревна трещат и становятся дыбом, но гребцы успевают увернуться.

Почему они не падают в воду?

Вот было бы интересно, если бы взяли и утонули.

Или еще думаю о толстом господине с пухлыми щеками, который любит прогуливаться по мосту и глазеть на девушек. В кондитерской он проглатывает чашку кофе и заедает полдюжиной пирожных. Ужасно жирный и думает, что ужасно умный.

В библиотеке он берет самые серьезные газеты. Читает, отдувается и, рассыпаясь в извинениях, сморкается.

Однажды он явился к портному, помахивая тросточкой, гордый своей неувядаемой свежестью и упитанностью, и спросил у него или у подмастерья, а то и у мальчишки-ученика:

«Простите, сударь, не могли бы вы сказать, сколько материи понадобится, чтобы сшить пару интеллигентных штанов по моей мерке?»

Дубина, охламон, тупица, идиот!

Однажды в пятом классе на уроке рисования зубрила с первой парты, который все время щипался, вдруг показал мне лист тонкой бумаги, на который он перерисовал картинку из «Нивы» – «Курильщик».

Вот это да! Я чуть не упал.

Плохо помню что и как, но, когда я увидел рисунок, меня словно ошпарило: почему не я сделал его, а этот болван?!

Во мне проснулся азарт.

Я ринулся в библиотеку, впился в толстенную «Ниву» и принялся копировать портрет композитора Рубинштейна – мне приглянулся тонкий узор морщинок на его лице; изображение какой-то гречанки и вообще все картинки подряд, а кое-какие, кажется, придумывал сам.

Все эти работы я развесил дома в спальне.

Мне был знаком уличный жаргон, известен обиходный лексикон.

Но слово «художник» было таким диковинным, книжным, будто залетевшим из другого мира, – может, оно мне и попадалось, но в нашем городке его никто и никогда не произносил.

Это что-то такое далекое от нас!

И сам я никогда бы на него не натолкнулся. Но однажды ко мне пришел в гости приятель. Обозрев картинки на стенах, он воскликнул:

– Слушай, да ты настоящий художник!

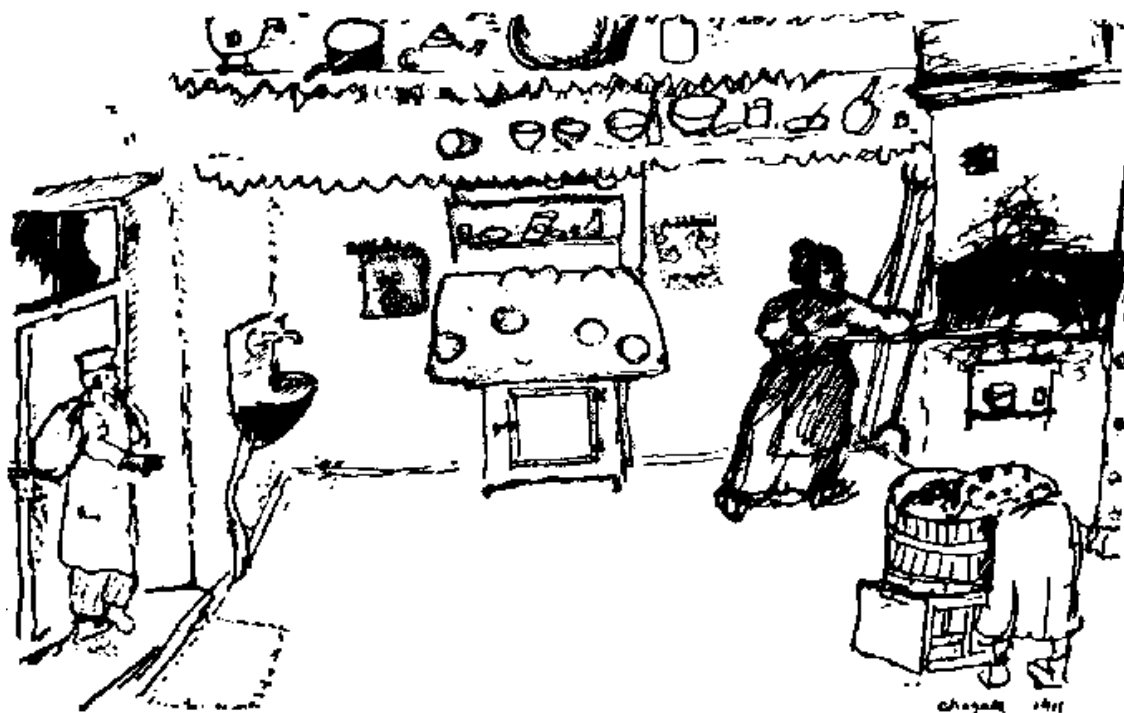
– Художник? Кто, я – художник? Да нет... Чтобы я...

Он ушел, оставив меня в недоумении.

И тут же я вспомнил, что действительно видел где-то в нашем городке большую, как у лавочников, вывеску: «Школа живописи и рисунка художника Пэна».

«Жребий брошен. Я должен поступить в эту школу и стать художником».

Тогда конец маминым планам сделать из меня приказчика, бухгалтера или, в лучшем случае, преуспевающего фотографа.



**В один прекрасный день** (а других и не бывает на свете), когда мама сажала в печку хлеб на длинной лопате, я подошел, тронул ее за перепачканный мукой локоть и сказал:

– Мама... я хочу быть художником.

Ни приказчиком, ни бухгалтером я не буду. Все, хватит! Не зря я все время чувствовал: должно случиться что-то особенное.

Посуди сама, разве я такой, как другие?

На что я гожусь?

Я хочу стать художником. Спаси меня, мамочка. Пойдем со мной. Ну пойдем! В городе есть такое заведение, если я туда поступлю, пройду курс, то стану настоящим художником. И буду так счастлив!



- Что? Художником? Да ты спятил. Пусти, не мешай мне ставить хлеб.
- Мамочка, я больше не могу. Давай сходим!
- Оставь меня в покое.

И все-таки решено. Мы пойдем к Пэну. И если он скажет, что у меня есть талант, можно подумать. Ну а если нет...

(Все равно буду художником, думаю я про себя, но выучусь сам.)

Итак, моя судьба в руках г-на Пэна. По крайней мере, так сочла мама, глава семейства. Отец дал мне пять рублей, плату за месяц, но бросил их во двор, так что мне пришлось бежать подбирать.

Вообще-то, в первый раз я узнал о существовании Пэна, когда ехал как-то на трамвае вниз к Соборной площади и мне бросилась в глаза белая на синем фоне надпись: «Школа живописи Пэна».

«Ого! – подумал я. – Какой культурный город наш Витебск!»

И тогда же решил познакомиться с мэтром.

Собственно, эта синяя жестяная вывеска ничем не отличалась от тех, что висели над каждой лавкой.

Ведь в нашем городке визитные карточки или маленькие таблички на дверях не имели никакого смысла. Никто не обратил бы на них внимания.

«Булочная-кондитерская. Гуревич».

«Табак. Все сорта табака».

«Фрукты, бакалея».

«Варшавский портной».

«Парижские моды».

«Школа живописи и рисунка художника Пэна».

И все это коммерция.

Но все же эта последняя вывеска показалась мне словно бы из другого мира.

Синяя, как небесная лазурь.

Открытая дождю и палящему солнцу.

И вот, свернув потрепанные листы с рисунками и ужасно волнуясь, я иду вместе с мамой в мастерскую Пэна.

Едва переступив порог, на лестнице ощущаю пьянящий чудесный запах холста и красок. Повсюду висят портреты. Дочь градоначальника. Сам его превосходительство. Г-н и г-жа Л., барон и баронесса К. и другие. Откуда мне их всех знать?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.